



### **СЕРГЕЙ САМАРИН**

Дипломат, писатель

Сергей Сергеевич Самарин родился в 1924 году в Москве в известной аристократической семье. Философ-славянофил Юрий Фёдорович Самарин приходился ему двоюродным дедом, а дядя по отцу Александр Дмитриевич Самарин некоторое время служил прокурором при Святейшем Синоде, и его пребывание на этом посту совпало с обострением ситуации в обществе и внутри Церкви в связи с деятельностью Григория Распутина.

В 1931 году, после смерти отца, Сергей Самарин вместе с родственниками по материнской линии эмигрировал во Францию, в Париж. В возрасте девяти лет поступил в русский кадетский корпус, действовавший в эмиграции и расположенный недалеко от Парижа. Затем продолжил своё образование в лицее Мишле, а далее в Сорбонне. В 1946 году он начал работать переводчиком на конференциях ООН — последовательно в Нью-Йорке, Париже, Женеве и Вене.

Всю свою жизнь писал, как на русском, так и на французском языке. В 1977 году его роман «L'Abolition» («Крушение»), опубликованный крупнейшим французским издательством «Галлимар», получил награду Французской Академии. Действие романа происходит перед Второй мировой войной в пригороде Парижа в военной школе для мальчиков, чьи семьи были изгнаны из недавно поверженной Империи.

Последние годы жизни провёл в Ирландии. Скончался в 1995 году.

В этом выпуске Альманаха мы публикуем фрагменты романа «Крушение», впервые переведённого на русский язык, полная версия которого выйдет в свет как литературное приложение к Альманаху в 2012 году.



## **КРУШЕНИЕ**

Фрагменты романа

*Посвящается Мэри*

### **Глава 1**

#### **1**

Вон он — в эту самую минуту зажигает лампу и выдвигает в круг света пачку линованной бумаги. Плавное волнение спины — надо устроиться поудобнее, а пальцы уже снимают колпачок с ручки; затем он опирается локтем о стол и в левую ладонь, уютно сложенную, кладёт красивое задумчивое лицо. Без помарок струится быстрый серпантин ловко закрученных фраз.

Мне, Крете́й, знаком этот прекрасный миг. В доме все улеглись, посуда после ужина убрана; капли из плохо закрытого крана стучат по эмали

раковины; а перед вами распахнутое окно, за которым пригородные сады, окрестные леса, пустынные улицы. Ночь доносит до вас обрывки звуков и запахов, похожих на тот пёстрый мусор, который скапливается, образуя непроницаемую пелену, на водной глади в порту: тут и куски пробки, и гниющие водоросли, и мелкие фрагменты перемолотых морем неизвестных предметов, и солома, тонкая, блёклая, в которой иногда, если вдруг свет упадёт, вспыхивает яркое пятно или мерцает осколок стекла.

Внутри вас всё приходит в движение: образы и слова рвутся наружу и выплёскиваются так быстро, что вы не можете не то что их упорядочить — даже ухватить; между ними возникают странные связи, нелепые сочетания, перед которыми вы бессильны: на экране, которым служат освещённые лампой стол и бумага, отражается лишь беспорядочная борьба, проносятся и исчезают тени. Вы встаёте, ходите, затягиваетесь папиросой. И вдруг, сами того не замечая, уже пишете, папироса погасла, грудь упёрлась в стол, и этот стол теперь существует отдельно от всего, он сам по себе, освещённый прямоугольник в ночи; вы медленно выходите из порта и дрейфуете по чёрным водам ночи, свежая волна аромата пригородных пионов несёт вас мимо хибар и огородов, вдоль бульвара Родена, где спят армянки с чёрными как смоль глазами и чарующими волосами; вы плывёте над холмами, которые спускаются в долину — её черноту разрывают синие раны заводских огней; проплываете над петляющей дорогой, по которой поднимается к вам сошедший с кроваво-красного парижского неба освещённый автобус — неповоротливое насекомое, сложившее жёсткие крылья. Вы, единственный хозяин, единоличный властитель спящего мира, парите в чёрном небе Исси-ле-Мулино, точно спутник, задумчиво плывущий изменчивым курсом, но вас уже сопровождают в поклоне двое: справа — блистательный в доспехах из чистого серебра и шлеме с огненным султаном Ангел Правды, а слева — Ангел Вымысла, у которого мягкий густой плюмаж с сиреневыми прожилками. Вслушиваясь в хрустальный голос одного и глубокий голос другого, соединяя флейту и виолончель, вы пишете, пока от большого пальца левой ноги мурашки не пробегают по коже, добираясь до онемевшей правой лопатки, пока судорога не кольнёт большой палец руки, прижатый к ручке, пока вы не очнётесь, почувствовав щекотание сна в утомлённых светом глазах.

Как заманчивы те ночи, когда упорядочиваются тени и сбываются желания; но что за правду нашёптывает вам Ангел с огненным султаном, Кретеи? Вы ищете красок и страсти. Вам подходит лишь правда, похожая на калейдоскоп, где бесцветные осколки битого стекла играют тысячами огней, преломляя и отражая свет. Ваша правда облачена в цвета места и времени; вам легко дышать только ощущая тепло конечного и малого. Вы терпеливо обтёсываете фрагменты, сколотые с мощной скалы прошлого; вышлифовываете грани, со знанием дела соотносите наклон гладких поверхностей; придаёте драгоценный блеск простым кристаллам соли. Сколько терпения нужно, чтобы выплавить из невзрачной массы совпадений, стечений

обстоятельств точный образ, в котором раскроется их тайная красота! А ещё я почти люблю наивную улыбку, преображающую ваше лицо, когда вы, перечитав страницу, переставляете в конце всего одно слово, находите несколько неожиданное и очень точное прилагательное, заставляющее всю массу абзаца всколыхнуться; движение передаётся дальше и дальше, поднимается по руслу фразы — и вдруг она начинает заворазивать. Вам кажется, что теперь правда в ваших руках; но она как вода, Кретей, как свет: разожмите пальцы — видите, что осталось? Ваш Ангел Правды — фокусник.

А что внушает вам Ангел Вымысла? С ним меньше сюрпризов? Он населяет ваш разум беснующимися тенями; и от этого у вас отсутствующий взгляд. В вашей голове пустое гулкое пространство, как театральная сцена, открывающаяся из-за кулис, где происходит непонятное действие, бесконечная трагедия, за которой если и можно следить, то только сбоку, отрывками, начиная с третьего акта; рваное пламя факелов, борющееся с ветром, словно окрашивает парад оружия и бархата на подмостках в тона подозрительности и нерешительности. Сколько скорби в стихах, которые читают фантастические тени: тяжёлые волны разбиваются, пенясь на рифмах, и с приближением ночи слышится придыхание ветра. Понимаю, что вы робеете перед ними. Но как мне смириться с тем, что вы пытаетесь очертить их силуэты, показать при свете дня драму, где вы — ночной зритель, придать разумную завершённость и стройность этому неистовству, неизвестно чем порождённому? Наконец, подправляя правду вымыслом, а вымысел правдой, выравнивая их по вашим смехотворным осям координат, не чувствуете ли вы, что уступаете времени? В чем смысл клятвы, которую мы сообща принесли, если теперь вы собираетесь описать нам по жалким правилам последовательности и правдоподобия, как мы пытались её сдержать и потерпели крах? Мы обручились с небытием и вечностью — зачем нам историограф?

Ваше лукавство налицо: в упорядоченной прозе, которая в эту минуту выходит из-под вашего пера, вы надеетесь обрести средство и путь к спасению: если течение времени будет побеждено ритмом фразы, вы единственный из нас достигнете незыблемых берегов; а мы хоть и соединяли руки, вместе освящая этот замысел, но останемся лишь персонажами действия, которое будет развиваться по вашей воле; вы наполните наши поступки мотивами и объясните их, мы плоть, от которой вы будете отнимать по кусочку, материализуя созданные вами тени, мы дух, который озарит толикой смысла ваши осколки правды.

Но я уже вижу: как только вы возьмётесь за дело, вас осадят со всех сторон и захлестнут слова, которые вы выбрали, чтобы вещать. В конце концов, кто вы такой, Кретей? Кого мы слышим, когда звучит ваш голос? Кто-то наблюдает за вами, кто-то вас выбирает и с явной поспешностью делится содержанием и цельным замыслом. Так может, вы пассивное орудие, жертва внезапной стихии слова, которое через вас проявляется, стремится

к связности, но то и дело выходит за ясные ориентиры, расстраивая весь план? Не тонете ли вы в этом чёрном потоке, в этом безликом кишении слов и образов? И я не только о навязанных ритмах, о заученной мелодике фраз — всё это мутный осадок после ваших попыток покопаться в памяти, где, как в пещере, всюду эхо. Вами овладела тьма-тьмущая слов-демонов и держит вас, заставляя бессильно наблюдать, как гибнет то, что вы задумали. Вы хоть знаете, куда влекут вас неуправляемые слова? Не боясь быть нелепым, как те пылкие ораторы, которые избегают оплеух, вовремя поняв, что у них «слова опережают мысль», вы превращаете эту словесную гонку в особенность стиля; когда вы пишете, мысль живёт отдельно от вас, а вы — на полях, в ореоле межстрочных интервалов, в эфемерном свечении, которое тускло озаряет бурлящую речь, но размывает контуры значений в магических разноцветных переливах — такими переливами обрамляются предметы, если смотреть на них через ненастроенную зрительную трубу.

Коварный Кретей! Какое тёмное дело вы затеяли у себя на окраине в этот тихий вечер: вы слагаете с себя клятву, предав и её, и своих товарищей; вы позволяете безымянным бесам устроить шабаш в вашем сердце, рычать вашим голосом — и считаете себя творцом мира, который готовы из себя изжить; оставаясь рабом слова, однажды данного и неизменного для всех, вы в то же время хотите единолично править бал и быть всемогущим зодчим своих речей. Кстати, вы не уходите из повествования, пока на свой манер сплетаете его нити и перипетии, но и не остаётесь в нём — вы держитесь в стороне, заставляя нас, своих персонажей и товарищей, мириться с вашей иронией и бесцеремонностью, и просто обещаете появиться в конце, выскочить из романа как чёрт из табакерки; но для этой табакерки он сам как будто бы сделал стенки и вставил пружину, а потом спрятался внутри и захлопнул крышку. Знайте хотя бы, что я буду следить за каждым вашим шагом, я позволю вам говорить только чтобы ловить вас на каждом неверном слове, при каждой попытке исказить суть рассказа и направить его к обманному завершению; я буду восстанавливать правду вместо правдоподобия, и вы сами попадёте в плен вымысла, в котором собираетесь нас запереть. Смотрите, как бы не остаться голым, когда ваше лукавство откроется, а вымысел смешается с прахом вашего убогого честолюбия.

Но он мне не отвечает; не слышит; он продолжает писать.

## 2

Империя рухнула десять лет назад; большинство из нас едва застали её. Остров на краю света, куда подались некоторые из наших отцов, сначала продолжал хранить имя нашего народа и земли, из которой нас изгнали; но сегодня всех разметало по свету, а имя потонуло в забвении, на которое обрёл его декрет Верховной Ложи.

Впрочем, мы сначала смеялись, когда газеты принесли эту весть: можно было уничтожить упоминания обо всем, что предшествовало Большой

смуте, но мыслимо ли, чтобы из тех дней ничто не запечатлелось в памяти? Как забыть само имя, которым называлась страна? А этот «Бадуббах», название, утверждённое декретом взамен, мерзкая отрывка поэта-футуриста; хотели посмеяться над привязанностью к родной земле, а сами оказались в дураках!

Но мы недооценили Ложу; обычай голодных времён, обязанность доносить с рвением исполнялась в течение десяти лет, занимая все мысли, не давая перевести дух — откуда тут взяться критике и неповиновению? Святой Аспид, бывший покровитель Империи, избавивший страну от пресмыкающихся, мирился с мрачной сектой палеонтологов.

Мы живём на севере Парижа в большой несуразной постройке, в окружении свекольных полей. Мы очень молоды.

### 3

Когда трубят подъём, мы сразу смотрим на свои руки: они должны лежать сверху, на перекинутой через одеяло простыне. Дежурный офицер часто проходит аккуратно перед раскатистым сигналом горна; берегитесь, если увлекательный сон или просто потребность в тепле увлекут ваши руки под одеяло.

Склизкая заря заволакивает окна туманом; холодный душ, который мы принимаем втроём или вчетвером, переминаясь на прогнивших деревянных решётках, к которым липнут пальцы ног, окончательно будит нас. Одевшись, мы помогаем друг другу привести в порядок форму; каждая складка, каждая пуговица будет по всей строгости осмотрена после переключки. Озноб от холодной воды ещё ощущается под гимнастёрками, когда мы строим входим в часовню для утренней молитвы. В гимне, который выводят наши прозрачные голоса, меланхолия ночных грёз и бодрость утреннего горна; наши сердца — сплав чистых металлов, из таких выплавляли колокола во времена, когда в Империи были церкви: серебро — в невинных голосах малышей, бронза резонирует в глотках кадетов первого отделения. Затем будет чай, почти бесцветный кипяток в эмалированных металлических кружках; мы пьём его так, словно это эликсир мужественности, — для нас очень горячее, как и очень холодное, символизирует мощь. Воинская честь — стимул как для наших душ, так и для тел; потому мы и не помним, пытался ли кто-нибудь в Крепости вдолбить в нас, помимо техники фехтования и парадного шага, таблицу умножения.

Зимой по утрам в гимнастическом зале ледник. Синеватый свет словно впитал в себя холод и спускается широкими струями сквозь квадраты окон с разбитыми стёклами. С тёмно-красных ковров, так сильно потрёпанных, что местами видно узловатое пожелтевшее плетение, поднимаются клубы пыли, когда мы падаем на них с высокой трапеции или колец; колорит литографий в рамках из простого дерева мрачный и резкий, здесь прославляются самые жестокие эпизоды нашей истории: мы должны помнить, что

наши взлёты и достижения — лишь подготовка к более опасной борьбе. Император Матиас Медведь целиком съедает тушу барана, сидя под дубом, ветви которого увешаны казнёнными; внутренности животного с трудом можно отличить от пятна кирпичного цвета — бороды монарха; но особенно бросаются в глаза прикрытые лохмотьями крепкие мышцы повешенных, синяя жилка, бегущая вдоль шеи одного из них, и голые широко растопыренные пальцы ног. Виночерпий держит обеими руками украшенный золотом рог, из которого струится пиво. С другой стороны отряд пехотинцев в форме восемнадцатого века опускает штыки к яме, где копошится лохматая перепуганная толпа; офицер взмахивает в воздухе треуголкой: нам кажется, он скорее приветствует наши подвиги у турника, чем отменяет последний для этих несчастных миг; но мы видим суровые взгляды солдат, частокол опущенных штыков, ненависть на грубом лице высокого крестьянина в распахнутой на груди рубахе, который стоит среди жертв в первом ряду и протягивает вперёд обе руки, видим его раскрытый рот, вопящий, проклинаящий, и вспоминаем, что жизнь, в сущности, жестока. Плохо было врагам Империи в те времена. Мы готовимся так же сурово карать сегодняшних бунтарей.

Надо прищурить глаза, чтобы под фехтовальной маской не узнавались тонкие и злые черты лица малыша Гиаса, нашего товарища; эта гибкая и быстрая фигура, представшая во всём белом, эти руки в перчатках могли бы принадлежать врагу, который вспорет вам брюхо, если вы первым с ним не расправитесь. Вперёд, в атаку — невероятное напряжение в ногах и в запястьях превращает рапиру то в стальной щит, прикрывающий вас снизу доверху, то в таран невероятной пробивной силы; но вдруг оружие, вновь став утончённым, словно игла в дырку пришиваемой пуговицы, устремляется в мельчайшую брешь в обороне, найденную остриём. С радостным облегчением вы вбираете лёгким воздухом, когда Гиас, сорвав маску, отворачивается и опускает чёрные глаза; в его взгляде улыбка и ярость.

Но самый завораживающий предмет в этом большом обшарпанном зале — гимнастический конь, поставленный в центре, между окнами, параллельно снарядам. Нет ничего уродливее этого гладкого туловища, обтянутого почерневшей рваной кожей, — животное без головы и хвоста, опирающееся на деревянные негнущиеся ноги. Зато эта голая заготовка, неотёсанная, недоделанная штукovina открывает такой простор для фантазии! Мы взлетаем в прыжке над конём, тянем носки широко в стороны, и когда руки, на миг прикоснувшись к гладкой коже, подобно отпущенной пружине, ловким движением подхватывают и швыряют дальше наши тела, нас несёт не на пыльный ковёр у стены, где сверху в кринолинах, в корсаже, из которого вот-вот выпрыгнет алая грудь, наблюдает за нами императрица Фелиция, а выше и дальше, где нет облупившейся штукатурки, в бескрайние долины, в бесконечное белёсое небо, по которому беспорядочно бегут облака. Но ещё сильнее возбуждение, если прыжок не удался: ведь иногда, бывает, плюхаешься верхом — и чувствуешь, как боль медленно



поднимается от таза к горлу и постепенно перерождается в странное сладострастное оупение. Всего несколько секунд — ведь надо уступить место кадету, который прыгает следом, — но в эти секунды всё вокруг ускоряется, вы оказываетесь игрушкой, жертвой неувимых метаморфоз: примитивное тулово, зажатое у вас между ног, — это и конь, и товарищ, которого вы давно мечтали победить в драке, и сама императрица, которая дразнит нас своим круглящимся бюстом. Взгляд затуманивается, и зал расплывается пятнами: красное линияое пятно ковра, синева в пятнах больших окон, белое пятно — группа фехтовальщиков в пяти шагах от вас — только что метались как одержимые, вдруг уменьшились — и тишина.

Днём маршируем по большому пустому двору: отрядами, ротами, парадный шаг, мерный шаг, разворот, команды «шагом марш» и «стой» повторяются до предела совершенства; гордостью и уверенностью полны наши сердца. Ровный строй, чёткий ритм, в котором тысячи «я» неожиданно упорядочиваются вокруг невидимого каркаса, заставляют нас ликовать: возможно, мы лучше других научились принимать жизнь как она есть.

Иногда мы выходим на улицу, тоже строем: жёсткая дисциплина — наш щит в распутные времена, напирющие на стены Крепости. Мы быстро идём через деревню; выражение сосредоточенного безразличия, которое придаёт нашим лицам строевой шаг, кажется, огорчает лавочников. Начинаются тихие места: большие свекольные поля под широким влажным небосводом, красные глинистые овраги, где в самый раз устраивать засады и играть в войну, обширные леса, где, распластавшись на животе, сдерживая дыхание и чувствуя аромат прелых мёртвых листьев, мы выслеживаем барсуков и косуль, безлюдье, где наша речь перестаёт быть иностранной — всё это затерянные островки Империи, возникшие на реке времени.

В субботу вечером молодой генерал ведёт нас в кино; он единственный из наших офицеров, кому хватает знания французского, чтобы объяснить с кассиршей. Мы занимаем первые три ряда, деревянные кресла прямо перед экраном, и сидим, задрав головы, упёршись затылком в спинку. Кадры тех вечеров нам не забыть: парусники, кавалькады, бега быков. И конечно, нас будут преследовать образы женщин: их короткие платья, мерцание стразов, причёски «под мальчика» и нечто роковое в больших глазах, подчёркнутых чёрной тушью. Они начинают говорить, но мы недостаточно хорошо понимаем французский, чтобы следить за диалогами, поэтому авторское изложение событий подменяется вольной интерпретацией, в которой ребяческое представление о героизме сочетается с ужасной похабщиной.

Нам нравится возвращаться ночью через поля, уже увлажнённые росой: в это время в строю разрешено разговаривать. Мы выясняем друг у друга, правильно ли поняли суть, но ещё больше нам нравится смотреть продолжение во сне; вернувшись в дортуар, где уже спят наши товарищи, мы быстро раздеваемся при синеватом свете ночника, падаем на набитые конским волосом подушки-валики, и перед нами опять, только в более быстром и свободном ритме, недавние объятия и кавалькады.

Три лампочки, кое-как покрашенные синей краской, рисуют на стенах спальни нечёткие круги. Стены пористые; на их пожелтевшей поверхности, кроме застывших капель и следов кисти, оставленных малярами, чёткая сеть трещин и углублений — каждый из нас знает наизусть эту дорогую сердцу географию у изголовья.

Вот напасть! По холодной плитке коридора, где навстречу проплывает ещё одна безмолвная белая тень, босиком — до туалета. На трёх унитазах уже восседают кадеты, очень важные в своих широких ночных рубашках. Рядом, прислонившись к стене, ждёт своей очереди Мнесфей; он подогнул одну ногу и поддерживает её руками за спиной: красная плитка мокрая. Лица в темноте поворачиваются к пришедшему; прерванный разговор продолжится только через несколько секунд, но Клоанф уже достаёт зажжённую сигарету, спрятанную под рубашкой; маленький пылающий круг на мгновение увеличивается, перемещается и снова увеличивается, освещая снизу чёрные брови и орлиный нос Гиаса, который тоже затягивается. Молча входят и мочатся, не открывая глаз, предусмотрительно задрав рубахи, сонные малыши. Ароматная змейка дыма парит в полутьме и медленно растягивается в туманное облако посередине между полом и потолком большого холодного помещения.

— Мероэ приедет на праздник?

Они продолжают разговаривать; лучше молчать, чтобы не вызвать подозрений.

— Не знаю. Возможно, — отвечает малыш Гиас.

Он снова затягивается сигаретой; видно, как у него играет кадык. Своим кадыком необычайных размеров он гордится ещё больше, чем красотой сестры. Алькандр притворяется, что внимательно изучает свои икры, зацепившись голенью за края унитаза. Сколько времени он может пробыть в такой позе, как птица на ветке? Столько, сколько будут говорить о Мероэ. Между репликами повисают длинные паузы. Каждый представляет своё, и о некоторых фантазиях просто так не расскажешь.

— Ты видел её грудь? — спрашивает Мнесфей; он по-прежнему стоит на одной ноге.

Алькандр сразу осекает:

— Отстань, она его сестра.

— И что? — отзывается малыш Гиас. — Буду я стесняться! Видел я и грудь, и всё видел.

В трубах слышится бульканье; затем Клоанф затягивается в последний раз, встаёт и бросает окурочек в унитаз; табак гаснет в воде со слабым потрескиванием.

— Продай мне сестру, — шёпотом говорит Клоанф. — За это год убираю посуду в обед и ужин и каждый день начищаю тебе ботинки.

— Не могу. Не продаётся, — отвечает Гиас, не поворачивая головы.

Хоть и темно, видно, как горят его злые глаза.



— Продай её волосы, — предлагает Мнесфей, — снова вырастут.

В воздухе, пропитанном мочой, смутно видны парящие чёрные волосы Мероэ.

— А затылок у неё! А ямка под затылком и плечи... Зубами бы вцепился, — выпаливает Клоанф, покачивая торсом; его мускулы читаются даже под широкой ночной рубашкой.

Он прищурил глаза, его светловолосая кудрявая башка мельтешит туда-сюда.

— А грудь, — сдавленно шепчет он. — Соски фиолетовые. Зубами бы вцепился.

Волшебство продолжается. Заметно, как блестят глаза Гиаса. Все смотрят в ту точку в пространстве, куда только что тянулся сигаретный дым. Там, посередине между полом и потолком, медленно возникает и разрастается змеящийся силуэт. Можно различить волосы, спадающие на плечи, высокую грудь под ночной рубашкой, похожей на рубашки кадетов, долгий впалый изгиб спины, и вот уже вся Мероэ в позе купальщицы медленно плывёт по волнам сумрака.

— Хватит, — произносит Аלקандр.

Он встаёт и тянет за ручку слива. Под грохот обрушившейся воды мы возвращаемся в реальность. Плитки очень холодные. Белые тени скользят по коридору в тепло постелей.

— Сигарета. У кого сигарета? — слышен голос Мнесфея.

## 5

Большой парадный шаг назад выполняется так: гренадер стоит по стойке «смирно», вытянув руки вдоль туловища, ладони прижаты к бёдрам, четыре пальца плотно сжаты, но большой отходит от указательного под углом тридцать шесть градусов, подбородок параллелен полу и строго перпендикулярен воображаемой оси, которая соединяет затылок и каблуки, касаясь ягодичных округлостей; глаза вытаращены в сторону горизонта или, за неимением горизонта, в любую другую подходящую точку, её выбирает дежурный офицер; в этой позе гренадер по команде на счёт «раз» сгибает правую ногу, чтобы ступня оказалась на уровне левого колена; затем, на счёт «два», он резко выбрасывает правую ногу назад, выпрямляет её и опускает ступню на землю...

Описание включает ещё две страницы; в нем указано, что большой парадный шаг назад предназначен для проведения ономастических<sup>1</sup> праздников монарших особ мужского пола и факельных шествий, если их почтит своим присутствием Инфанта; честь выполнять этот шаг принадлежит только гренадерам пехотных частей Империи, и они проходят для этого специальную подготовку.

<sup>1</sup> Т. е. именных.

Но Империи больше нет, а значит, нет и гренадер, и в Париже только барон Н. ещё умеет мало-мальски достойно шагать назад.

Так появляется барон; с таким же успехом его можно было бы спустить с небес, куда он, вероятно, вознесётся в конце книги, будет сидеть на облаке или управлять колесницей, запряжённой крылатыми конями; ещё можно заставить его высунуться из люка, откуда вырываются языки серного пламени; в появлениях и исчезновениях барона всегда есть что-то неожиданное и торжественное; вот он приближается, точнее, пятится к нам, никого не замечая. Он совсем ненамного старше нас, и у него нет других официальных обязанностей, кроме как заниматься с нами строевой подготовкой и физкультурой; зато по сравнению с другими офицерами, даже с самым молодым генералом, плечами которого, украшенными следом сабли, все же довелось любоваться несколькими кадетами, барон больше старается увлечь нас, подмастерьев военного дела. Он никогда не рассказывал нам о своих приключениях; но наше разгорячённое воображение, освещая затемнённую обратную сторону памяти, мало-помалу выплавало в единое целое отрывочные признания, восклицания, реплику, услышанную кем-нибудь из нас от отца, чтобы легендарный образ засиял во всём блеске. Известные события оторвали барона от военного училища и бросили среди развалин Империи, он тогда был нашим ровесником; но мы не знаем, за какой выдающийся поступок наградил его за несколько дней до смерти старый Император, сделав последним кавалером ордена Святого Аспида; мы бы и не подозревали об этом, если бы несколько смельчаков, проскользнувших в комнату барона в его отсутствие, не застыли там от изумления перед мерцающим над железной кроватью бриллиантовым крестом, который обвила изумрудная змея. Кое-кто попытался спросить барона; но ответ сбил нас с толку: «Господа, — сказал он, — не пристало побеждённому в самой роковой для нашей истории войне носить самую высокую награду Империи, которая в течение всего девятнадцатого века вручалась только раз; я могу лишь догадываться о ходе мысли Императора; несомненно, он пожелал наградить предстоящие подвиги; и ждал он их не только от меня, но и от вас».

За обещание будущих подвигов мы и обожаем барона; он олицетворяет наш пыл. Что ни говори, на побеждённого он не похож; а поскольку нам ещё не выпал случай испытать свои силы, его пример для нас куда заразительнее, чем вид старых меланхолических офицеров, которые будто постоянно упрекают нас за то, что мы не видели расцвета Империи. Вместо того чтобы поддержать наши мечты, они погружаются в собственные мечты о прошлом. Навязывают нам груз своего поражения и разочарования. Лысый полковник, которого особенно боялись в замке, был другом отца Мнесфея; наш товарищ однажды рассказал, что, придя в гости, старик назвал его по имени и обмакивал сухарь в чашке, чтобы размягчить. Мы сначала объявили Мнесфею бойкот за то, что он клеветает на армию; но было ясно, что он и сам потрясён. После этого мы стали замечать и другие штрихи, каждый про себя, не решаясь особо об этом говорить: полное

смятение за внешней бодростью духа, за жестокостью безутешную тоску, а за видимым вояческим напором и лихостью ползучие признаки разложения. И только барон открывает нам путь в будущее, на которое мы имеем право, и одновременно в прошлое, более славное, чем то время поражений, которое пережили наши отцы.

В крепости прошлое окружает нас повсюду; не случайно внизу у парадной лестницы, перед входом в столовую, можно видеть раскрашенную гравюру, где, как нам кажется, сам барон (он, живущий среди нас!) изображён в блеске этих героических и наивных минувших дней, и наше воображение, настолько сужая настоящее, что в нем просто ничего не остаётся, озаряет этим блеском обещанное будущее. Сначала различаются только алые пятна на тусклом нечётком фоне; нужно подойти, чтобы разглядеть лошадь с развороченным брюхом: она тащила полевую пушку, а теперь два усатых и бородатых персонажа пытаются её распрячь; пушка завязла в дне речки, небесная синева которой рвётся из тесных извилистых берегов, окатывает рошу на склоне на заднем плане и смешивается с грозным небом, где изображено множество молний; справа бревенчатый мост захватывает разгорячённая толпа в одинаковых красных фесках на головах, взгляд сразу падает на это кричащее пятно; с той стороны моста, которая ближе к зрителю, всадник в чёрном на вздыбленном коне рискованно откинулся назад всем телом и взмахивает, задевая молнии, огромной саблей; он сражается с двумя мусульманами, заметно более рослыми, чем их единоверцы, — войско, несомненно, выставило их вперёд, навстречу большому всаднику; один из них, на кого вот-вот обрушится грозное оружие, пытается в оставшиеся мгновения воткнуть в грудь коня нечто напоминающее пику; другой, которого уже настигла судьба, ждущая его товарища, падает с разрубленной пополам головой, причём клинок настолько точно рассёк по вертикали его лицо, что глаза, разделённые фрагментом пейзажа, смотрят друг на друга так же жалостливо, как у страдающего косоглазием; в противоположном углу на переднем плане, не замечая войны и даже грозы, пастух разлётся под деревом и играет на свирели в окружении овец, сильно смахивающих на котов. Нам, конечно, известно, что лейтенант барон де Н., который, как сообщает потрёпанная временем неровная надпись, «один в течение двух часов не давал неверным перейти мост через реку З.», это даже не предок, а просто однофамилец барона, которого мы знаем, но барон молод и при этом он из пехоты, и мы всё равно связываем с ним эпизод более чем вековой давности, когда всадник в одиночку защищал бревенчатый мост. В конце абзаца нам предстоит на время проститься с бароном, но мы не удивимся, что когда прозвучит команда гасить свет, он удалится не в голую комнатёнку, которую занимает на верхнем этаже замка между спальней малышей и нашей и куда никого из нас он ни разу не приглашал, — он перешагнёт через рамку литографии, сделанную из простых деревянных реек; там он вскочит в седло и всю ночь проведёт на вздыбленном коне один на один с грозой и с толпой в алых фесках.

Лазарет на втором этаже — это большая прямоугольная палата, её окна без ставен и штор выходят во двор. По обеим сторонам друг против друга — по пять кроватей; белый крашенный шкаф, поставленный у входа, напротив окна — это всё, что есть из мебели. Здесь царит стойкий запах йодного раствора, единственного средства, которым пользуются в Крепости, не считая весьма широкого ассортимента слабительных. В лазарете больные — редкость, там остаются только те, кого не отправить к родителям. Если мы появляемся там, то это чаще всего симуляция — во время экзаменов или когда одолеет лень и придёт охота помечтать: ведь это привносит в суровую жизнь монастырей и казарм хоть немного простора и неопределённости; а некоторые, ясное дело, ищут повод продемонстрировать свою наготу фельдшерице, круглой спелой бабёнке, для которой первый этап любого лечения и впрямь состоит в том, чтобы полностью раздеть больного. Она только что прошла и раздала градусники; через четверть часа проверит температуру, выключит свет и молча удалится своей вальяжной походкой, закрыв дверь в лазарет, где в последних отблесках сумерек, в полутьме, а вскоре и в лунном сиянии воцаряется пьянящая и волнующая свобода. Сегодня у окна лежит настоящая больной: кудрявая голова малыша вдавлена в валик подушки; щеки в красных пятнах, к потному лбу прилип завиток волос, слабая рука лежит на одеяле, вялые пальчики сложены, словно хватают невидимую щепотку, но без усилия, без напряжения, отсутствующий взгляд неподвижных глаз провожает тени и последние лучи света во дворе — по всему видно, что у него и правда жар, и как только фельдшерица выходит, двое кадетов соскакивают с коек, стоящих в том же ряду, и суют свои градусники ему под мышки — чтобы «поделиться» температурой. Мы называем этих кадетов «персами»: они наши соотечественники, их семьи эмигрировали в Персию после Большой смуты; приехав сюда, они разговаривали между собой на ласкающем слух и нечленораздельном языке; они богаче нас и деньгами, и опытом, и, кажется, даже физический облик их изменился: более жёсткие волосы, лазуритовые глаза, на которые падает тень длинных ресниц, оливково-молочная кожа, облагороженная всеми лучами Востока.

Серестий подобрался к больному слишком поздно: в горячих впадинках маленького лихорадящего тельца места для его градусника уже нет; он бежит назад и, оттолкнувшись обеими ногами, запрыгивает на кровать; её пружины издают сдавленный металлический стон; широкая ночная рубашка на долю секунды раздувается, как балетная пачка, он падает на скомканную простыню, и последний луч в сумерках на миг словно замедляет его падение.

— Чёрт, разбил.

Скрипучий голос Серестия диссонирует с его изящным прыжком. Градусник, который он держал в руке, при приземлении разбился; Серестий снова встаёт и собирает во впадинку ладони мелкие осколки стекла, рассыпанные по простыне.

— Помоги, быстрее, пока не пришла.

Алькандр, которому приказ адресован, лениво потягивается на соседней кровати. Не любит он этот командирский тон, но и отшить не может — подчиняется, и его тотчас передёргивает от гордости и самодовольства: он вспоминает, какая пропасть лежит между ним, потомком основателей Империи, и этим дворянчиковым сыном; вспоминает большие чёрные глаза, которыми он иногда любит в зеркале, мягкие каштановые волосы с золотым отливом, прекрасную кожу на загорелых розовых щеках — всё своё телесное изящество, которое так приятно ощущать и которое как день и ночь смотрится в сравнении с исхудалым лицом и угловатостью Серестия. Явное превосходство позволяет ему снизойти до повинования.

Вернувшаяся фельдшерица застанет их над смятой постелью, когда они, согнувшись бок о бок, будут собирать осколки стекла и охотиться в продольных серых складках покрывала за неуловимыми капельками ртути. Потом они лежат молча. Серестий, которому фельдшерица принесла из шкафа другой градусник, трёт пальцами кончик, отливающий металлическим блеском; сухая кожа слегка поскрипывает. Его сосед полусидит в кровати, не двигаясь, широко открыв глаза и видя перед собой только серую краску стены. На столике у кровати осталась открытая книга, которую он читал, с фотографиями аэропланов и первых асов военной авиации. Ему видятся парашюты, архангелы, веснушки на шероховатой коже друга. Вдоль стенок стакана с минеральной водой больше не бегут к поверхности пузырьки газа. Маленький больной дышит медленно; кажется, температура спала, и он погрузился в более глубокий сон. Серестий опять поднимается и тянется с градусником к окну: когда трёшь в темноте, температура может заполнить неправдоподобно высоко. Тем временем один из персов в три лёгких прыжка оказывается у кровати второго и проскальзывает под одеяло; они натянули его себе на головы — думают, что Серестий ничего не видел. Он и правда молчит: сидит, тоже прислонившись к спинке кровати; сложив ноги, натянул на колени простыню и почти касается ими подбородка. Ночь так сильно отдаёт едким запахом йодного раствора, что, кажется, окрасилась в его цвет. Слышно поочерёдное перешёптывание, учащённое дыхание, смешки и поцелуйчики персов.

— Заткнитесь! — кричит Серестий.

В ответ квохтанье, потом снова тишина. «Заткнитесь!» Если бы Серестий предложил устроить им «тёмную», помочь ему было бы одно удовольствие — искры бы из-под кулаков посыпались. Надо заставить себя не думать о том, что происходит в темноте той постели, — возникает странное ощущение чего-то омерзительного и интимного. Лучше спать; попадая в лазарет, пьянеешь, заполучив свободу, но Алькандр в который раз не может вкусить её до последней капли. Нечто давящее разрастается и мешает уснуть, и всё же он знает: стоит вспомнить об этом, и он вернётся сюда, и снова будет томиться в нём беспредметное желание. Зато Серестий уже спит — или притворяется, чтобы сохранить хорошую мину: ведь кое-кто продолжает свои игры. Закрывать глаза — и неустанно следить,

как в переливах на чёрном фоне медленно опускаются светлые пятна, плывущие по диагонали слева направо: платки, надутые ветром, парашюты, рубашка Серестия, расправленная в прыжке. Отец Серестий был одним из героев-авиаторов эпохи парусиновых птиц. Нет, Серестий не спит, слышно, как поскрипывает сухая кожа его быстрых пальцев: он томится, его распирает. Ему бы тоже успокоиться, укротить свои мысли, заглушить волнующие звуки, доносящиеся из кровати напротив. Надо показать ему, что не он один начеку, стать его сообщником, но так, чтобы не вообразил себя главным. Заискивание Серестий чувствует тонко и отвечает резкостью; надо, чтобы он первым заговорил. И он заговорил:

— Ртуть у тебя?

Здоровую каплю ртути, которую удалось восстановить из мелких брызг, размётанных по простыне, Аلكандр действительно поместил в стакан для полоскания зубов на ночном столике.

— Покажи.

Серестий зажигает свечу, которую хранит в ящике. Пускать шустрые капли по мрамору столика — развлечение не по возрасту: случайно прикоснёшься пальцами — неприятно, и пол под босыми ногами холодный.

— Надо бы ещё ртути.

Мгновение они стоят в темноте, свеча освещает складки их ночных рубашек. Нежности персов выливаются в странное насекомье гудение.

— Достали меня эти выродки.

Нечто интимное начинало густеть вокруг, как кисель, и враз рассеялось от решительного тона Серестия. Идея сорвать одеяла, которые укрывают Персов, утопить их поцелуи под градом кулаков на мгновение повисает в темноте цвета йодного раствора; Аلكандр вдруг слышит, как бьётся его сердце. Нападут они вместе на эту разоблачённую наготу — а вдруг из этого родится что-то тайное и влекущее, так хорошо уживающееся с темнотой?

— Может, разбить все градусники? — предлагает Аلكандр.

Приблизившись к кровати персов, Серестий все же швыряет туда вслепую свой башмак.

— Эй вы, там! Вы ничего не видели. А вообще скажете, что это вы, иначе вас вся рота отлупит.

Десяток градусников, хранившихся в шкафу, разложен на кровати Серестия. Разбиваются они легко, надо обмотать пальцы простыней; градусник — деликатный предмет, и обращение с ним очень осторожное: оно поглощает восторг, переходящий в раж, — неожиданный подарок этой ночи; осколком стекла Аلكандр всё-таки ранит кожу прямо над ногтем. Маленькая капелька крови, такая же круглая и густая, такая же непроницаемая, как капли ртути, понемногу набухает, потом лопается и расплывается по гладкой роговой поверхности.

— Ты смотри, шутки ради бельё мне не замарай. Дай-ка.



У Серестия все тот же резкий тон, такой же властный, никуда не денешься. Но есть что-то большее в уверенном и аккуратном движении худых пальцев, бинтующих указательный перст товарища.

Сон, безжалостный и дивный, сваливает Алькандра на подушку. Ртуть собрали, а он и не вспомнил про игру, которая привела к этой маленькой сече. Но когда он закрывает глаза, то в сладком ужасе перед наказанием, которое сулит обоим сообщникам завтрашний день, ему снова видятся обезглавленные трупы градусников, лежащие на продавленной кровати, капля крови на ногте и веснушки на руках Серестия, который бинтует ему палец.

## 15

Показав на восток, трубка определила исход сражения. На рассвете в затуманенной долине разнеслась барабанная дробь; пронесли прославленные боевые штандарты; монахи свитой окружили золочёную хоругвь со Святым Аспидом; трава, усыпанная росой, была зеленее зелёного. Громкими победными возгласами встретили старого маршала; его фиолетовая жилка набухла; локоны седых волос, выбившиеся из-под треуголки, развевались на висках, подхваченные влажным утренним ветром; его глаза блестя; никогда ещё он столь явственно не воплощал образ гения. Первой выступила кавалерия; разделившись на три параллельные колонны, каждую из которых вёл один из Фаворитов, войска быстро заполнили долину; солнце начало разгонять туман; под громовое «ура» и тяжёлый топот сапог по влажной земле оно осветило зубцы сабель, разноцветные плюмажи. Маршал стал во главе пехоты: он сам был пехотинцем и верил только в штык, а эта крестьянская масса шла на бой, как идут во время сенокоса на барщину. И наконец, следом за артиллерией волы тянули повозки с провиантом и фургончики шлях.

Когда первая конная колонна, двигавшаяся вдоль ручья, добралась до мостика, над Крепостью начали подниматься клубы дыма; и почти сразу громыхнула пушка. Фаворит, который вёл колонну, велел своим всадникам остановиться; к маршалу направился офицер — спрашивать приказ о переправе на левый берег; пока он говорил, спешившись, с трудом удерживая разгорячённую лошадь, начальник штаба не сводил со старого маршала умоляющий и робкий взгляд — переправа была даже проще, чем он думал: вражеской артиллерии было не дотянуться до моста. Но в ответ — молчание; гений неумолимым орлиным взором пристально глядел на восток. Солнце развеяло туман, ворота крепости открылись — по долине рассредоточился целый гарнизон пуритан; их синие мундиры и шлемы в форме митры красиво смотрелись на изумрудном фоне лугов. Императорская армия, последние соединения которой в эту минуту достигли моста, замедлила ход: в трёх лье впереди, среди болот, ручей изгибался к югу. Левая колонна всадников затерялась в камышах — таких высоких, что они скрыли её от остальной армии — и начала спускаться вдоль русла; правая колонна, дойдя до излучины, направилась по течению вверх. Вместе они

взяли в «клещи» центральную колонну, завязшую в грязи в самой топкой части болота; на пятки ей начинал наступать авангард пехотинцев. Между тем командующий артиллерией, германский наёмник, понимая, что враг приближается и уже слышны его «ура», своей волей приказал остановить пушки и направил их на квадраты из синих мундиров; несколько ядер вылетели и упали, здорово не дотянув до врага. Даже те, кому было не привыкать к гневу старого маршала, вздрогнули, когда он узнал о самоуправстве; с самого утра он молчал; фиолетовая жилка набухла так, что казалось, вот-вот лопнет от его гнусавого голоса, когда на немедленно разжалованного виновника обрушились самые непристойные и многосложные ругательства нашей речи. Командовать артиллерией был послан самый послушный офицер; канониры ещё раз поменяли позицию и повернулись спиной к врагу. Между тем на болоте, зажатая в самой вершине излучины, которую описывал ручей, кавалерия рубилась всюю: каждый из Фаворитов проклинал двух других соперников и намеревался не упустить момент, чтобы от них избавиться. Впрочем, в камышах сумятица была такая, что друг друга убивали даже конники одного полка, не говоря о пехотинцах, влившихся в самую гущу сражения. Попав между штыками пехотинцев и палашами драгун, знаменосцы вместе с церковниками сгрудились на холме вокруг хоругви со Святым Аспидом; все время, пока шла резня и пока прославленные штандарты не оказались в руках пуритан, монашій хор оглашал поле битвы звуками священных гимнов. Двигаясь плотными рядами и стреляя с колена через каждые десять шагов, синие в конце концов добрались до нашего арьергарда; в первую очередь они завладели водкой и шляхами, но, увы, сразу добычей не воспользовались. Превосходство имперской армии было таково, что сражение ещё можно было выиграть, и грозный старик, хотя тоже угодил в давку, не утратил самообладания; дар импровизации обеспечивал ему самые громкие победы, и он вдруг приказал кавалерии отойти к западу и атаковать врага. Несмотря на то что для этого пришлось прошагать по спинам нескольких наших лучших пехотных полков, которые не могли расступиться на вязком и тесном пятачке, кавалерия, возможно, осуществила бы этот сложный маневр, если бы от избытка усердия новый командир артиллерии, которому только что было приказано вести огонь, в ту самую минуту не принялся поливать ядрами беспорядочное месиво из конных и пехотинцев. На холме золотая хоругвь со Святым Аспидом и прославленные штандарты возвышались над дымом, переливаясь на солнце; священные гимны летели в ясное небо; но сквозь канонаду и треск ружей уже слышны были хриплые приказы и победные крики еретиков. И тогда над болотом взлетели три чёрных лебедя, фавориты Государыни, и полетели к столице; семь дней и семь ночей обгоняли они друг друга, каждый хотел первым доставить весть, что армия погибла, а старый маршал и штандарты в руках врага; но когда, миновав бескрайнюю равнину, достигли они городских ворот, колокола всех церквей отбивали поминальный звон: Императрица скончалась, послы поспешили выкупить

мир ценой всех царственных побед. Трёхлетняя война подходила к концу, а с ней и восемнадцатый век: просвещённые и скорбные умы, увлечшись уравнительными идеями и палеонтологией, уже начинали подтачивать священные основы Монархии.

## Глава 2

### 2

На четырёх листах прекрасной крафтовой бумаги с синьковым отливом, которую Сенатрисе после Большой смуты не приходилось держать в руках, были строки, написанные размашистым уверенным почерком с резким наклоном вправо, и подпись: «Ваша любезная покойница».

— Откуда это? — спросил Альяндр, заглянув через плечо матери.

— Из замогиля.

Сто лет назад влиятельные семейства Империи утратили привычку к хорошим новостям. К тому же в Париже почта, недавно перешедшая к врагу, теперь вперемешку со счетами и повестками в префектуру приносит только извещения о смерти, которые дальняя родня, чьё существование никогда не давало Сенатрисе повода для утешения, засылает, умирая, дабы ей горше стало на старости лет. С недоверием, смешанным с обречённостью, достала она из кармана кухонного передника позолоченный лорнет, стёкол которого уже не хватало при её близорукости, и разложила на клетчатой клеёнке содержимое пухлого конверта. Чего там только не было — и от руки, и на машинке, и отпечатанное в типографии. Им понадобится добрых два часа, чтобы между слезами и благодарениями восстановить цепь событий, от которых будущее наполняется неожиданными надеждами, а к прошлому добавляется призраков: оказывается, покойный Сенатор, до Большой смуты подолгу находясь во Франции с поручениями, времени не терял, охмурил актриску и «устроил её в своих апартаментах»; от совестливости и по широте души актриска по завещанию передавала законной семье присвоенную и тем самым сохранённую ею малую часть имущества; справка нотариуса и несколько бланков, расшифровка которых была отложена, подтверждали, что действительно свершилось чудо.

Сенатриса никогда в этом не сомневалась: молитвы и упрёки, которые она посылала небу с тех пор как овдовела, не могли остаться без ответа — вот Провидение и воздало ей должное при тройном содействии фантома-изменщика, некой особы и законника. Кое-какие нюансы все же её покоробили, и отнюдь не количество орфографических ошибок, которые красивым старательным почерком наклепила «любезная покойница», и не то, что покойный сенатор, меланхоличный и благопристойный человек, в чужих объятиях позволял называть себя «пупсиком»; но дом, где ему назначено было закончить свои дни, находился в провинциальной дыре, названия которой он даже не знал, и это несколько ранило её благопристойную натуру.

Зато не будет больше этой чёрной лестницы, наглой консьержки, бакалейщиков из пятнадцатого квартала; она благодарила Всевышнего и благодарила Усопшего, который всегда отличался предусмотрительностью и так удачно её подстраховал. В газете, которую Алякандр принёс вместе с синьковым письмом, сообщалось, что в тот день началась война.

## 7

Не потому ли тайком Сенатриса отправляется иногда по утрам на свалку, что боится, хотя из замка её не видно, потерять лицо? На ней тот же наряд, что и во время чаепитий в замке: других у неё нет; а если и есть, то все заперты в чемоданах, в забытых богом шкафах, от которых потерян ключ; но умение по особому приминать своё тело, складываться или, наоборот, распрямляться, чтобы струилось полотнище платья и накидка, откидывать вуаль на шляпке с победно колышущимся султаном — всё это позволяло Сенатрисе предъявлять свою единственную одежду как лицо, черты которого не меняются, но попеременно выражают то грусть, то радость и в прихотливом бытии под знаком дипломатии и нужды наполняются богатым разнообразием эмоций. На все случаи жизни она носит полотняную сумку, синюю с большими белыми цветами, походную кладовую, где разнообразные вещи, находки и реликты уходящей жизни — письма, предметы туалета, ключи, которые ничего не открывают, квитанции и пустые флаконы — пережидают время на размышление, как трава в желудке у коровы: отвергнет их Сенатриса или побережёт на своём дальнем пути в тайниках, о которых тут же забудет, но однажды, может, найдёт, и тогда эти предметы снова исчезнут в сумке с цветами. Алякандр не перестанет удивляться, глядя, как эта женщина, которая моментально теряет любую вещь, попадающую к ней в руки, и находит только то, что ей без надобности, которая, даже прикасаясь к домашней утвари, передаёт ей лёгкую хандру, вечно её бережущую, оказавшись в сердце городской свалки, вдруг действует с такой ловкостью, какой у неё вовек не увидишь, когда надо заниматься хозяйством. Древком метлы с крюком, специально приделанным для таких вылазок, она орудует так сноровисто, что, можно подумать, долго этому училась; она бросается на мусорные завалы, ворошит их, раскапывает и закапывает, хитрыми способами устраивает обрушения и оползни, сортирует, перебирает, тащит, подцепляет, устраняет препятствия и быстрым движением рыбака с удочкой вытаскивает ботинки, которые починит для Алякандра, или свитер, который заштопает, ещё больше растянет и так и не наденет, забудет. Быть может, сосредоточенный и весёлый азарт, который Алякандр видит сейчас на лице матери, наблюдая за ней издали, злость, вспыхивающая, если эту безответную тетёху в такую минуту отвлечь, — результат давнишней страсти к охоте и азартным играм, которая тайно делает своё дело в густой крови этих старинных семейств и которую Сенатриса по-прежнему подавляла бы и даже не чувствовала бы

её, если бы крушение Империи не привело её на мусорные завалы? Сам выбор находок, которые приносит Сенатриса и добрая доля которых, покинув сумку с цветами, через некоторое время лишится остатков своих скромных достоинств и окончательно обретёт покой на свалке, а также почти религиозная таинственность, сопровождающая эти вылазки украдкой, убеждают, что скудость гардероба и колючее безденежье не умалят в её адрес похвал. Глядя из укрытия, как она возвышается над этим полем нечистот, как победно втыкает в него свой гарпун, как широко раздувается от ветра её платье, и вдыхая в сиреновом свете сумерек кислые запахи брожения, Алькандр постигает наивную и печальную поэзию мусора. Свидетельствуя о хрупкости материи и непостоянстве моды, изгнанные, как сама Сенатриса, из естественной среды, придававшей им смысл, выброшенные вещи хаотично громоздятся друг на друга, и каждая упорно старается сохранить ничтожный остаток своего «я»; точно так же грубо подогнаны между собой детали раздробленной после Крушения картины мира, начиная с того момента, когда с Большая смута уничтожила разумную стройность порядка и заканчивая будущим как иллюзорным оправданием.

Возможно, Сенатриса в глубине души наслаждается неким таинством единения, вечерним покоем и одиночеством, но одиночество вдруг нарушает свист осколка кремния, который со всей силы швырнули из-за кустов ежевики; он ударяется о дырявое дно кастрюли у её ног, и в тишине по карьере разносится эхо. Пора Алькандру выходить на сцену, брать мать под руку и защищать её от камней и проклятий, которые посылает старьёвщик Лафлёр и его шайка.

— Я гуляла, — заявляет Сенатриса.

С каким достоинством вышагивают они по пыльной дороге, периодически обмениваясь впечатлениями от сумеречного пейзажа! А за ними, на расстоянии, прячась на поворотах, идут пацаны Лафлёра. Только мелкий беспородный пёс, лохматый, как вся остальная семейка, отваживается лаять прямо у них под ногами. Алькандр восхищается матерью: она никогда не оглядывается и даже вида не подаёт, что их преследуют; иногда он наклоняется — плавно, несмотря на высокий рост, — поднимает камень и запускает его назад, продолжая говорить.

Но когда приходится идти мимо хижины Лафлёра, откуда доносится особо грязная брань в адрес гинекея, его смущает младшенькая: она сидит на ступеньках у входа и при их приближении вдруг раздвигает ноги, едва прикрытые короткой юбкой, шлёпает ими друг о друга и пронзительно верещит. Алькандр услышит хриплый возглас матери: «Резеда!» — но потом, продолжая рассеянно откликаться на возвышенные рассуждения Сенатрисы, шагая по тёмной тропинке, чувствуя влажную свежесть сада, и позже, в кровати, засыпая, он будет ломать голову, как ему понимать жест маленькой старьёвщицы: как знак презрения к тем, кто нарушил их монополию, или как бесхитростный намёк, попытку обольщения?

История этих старинных краёв при панорамном взгляде, кажется, сталкивает целые династии, поскольку соседство и взаимные претензии на земли, поколениями вожделенные с одной и с другой стороны, и блистательные баталии, воспетые в эпосе, не позволяют иначе представить их отношения, хотя на самом деле, если присмотреться, были у них и периоды сближения, соединения в комбинациях династических браков, о которых договаривались в расчёте на наследство, когда один из народов ослабевал, поредев из-за войны или эпидемии, но главным образом потому, что не бывает мало-мальски длительного соперничества, в котором ненависть не подпитывалась бы тайным восхищением; точно так же обитатели виллы и хижины Лафлёра, обмениваясь мирными предложениями, постепенно забывая оскорбления и откладывая в долгий ящик претензии, устраивают временную передышку в своих распрях и войнах. Счастливые для одной из сторон и несчастные для другой события незаметно подорвали равновесие сил: оказавшись обладательницей небольшого богатства, присланного обществом Попечения сирот из Парижа с внезапной щедростью, приступы которой так же непредсказуемы, как и размах, и вычтя некоторые долги, которые стоило вернуть хозяевам лавок в перспективе новых, более крупных долгов, которые так легко не вернёшь, Сенатриса может теперь возлюбить свой ревматизм и нанять служанку; семья Лафлёр, со своей стороны, осталась без старшего сына, которого Республика призвала на поселение не то в казарму, не то в камеру; и стараниями бакалейщицы, которая взялась быть парламентарём в этом деле, Лафлёрша теперь каждый день добавляет беспорядка на вилле.

Таков уж нрав Сенатрисы — властный, но благородный по отношению к тем, кто признает её власть, да и Лафлёры определённо отличаются стабильностью, а точнее, свойственным всем членам семьи умением растворяться среди своих в бесформенной и радушной массе и напоказ предьявлять только общее, обезличенное лицо клана; в результате Лафлёрша проникает на виллу не одна: мальцов не оставишь без присмотра — вот один предлог, да и связь между хижинкой и виллой поддерживать надо, и как не соблазниться супами, которыми щедро потчует Сенатриса, убажывая аппетиты; и появляются самые маленькие и самые прожорливые Лафлёры, которых Сенатриса окрестит «двумя опарышами», затем девочки: Роза, Резеда, Бузина, «друга-дружкой-хохотушки», а иногда, на время просохнув и пыхтя от расшаркиваний, сам Старьёвщик со своим беспородным псом.

Так устанавливается сюзеренитет виллы над хижинкой и церемонная система обмена любезностями и дарами. «Два опарыша» с позволения Сенатрисы уминают порой всю провизию на неделю вперёд, но Старьёвщица со своей стороны приносит корзину овощей, а Старьёвщик преподносит кролика, если браконьерствовал в карьере. Лишь в одном случае, словно подтверждая, что перемирие это хрупкое и формально все претензии в силе, обоюдная щедрость уступает место строгой взаимности интересов: как два



филателиста, один из которых собирает только «британские колонии», а другой «Австро-Венгрию», Сенатриса и Старьёвщик обмениваются баш на баш находками со свалки, и каждый учитывает интерес, который представляет вещь для партнёра, и ценность того, что обещано взамен.

Как ветвь за открытым окном, отяжелевшая от соков и почек, сообщает мебели в гостиной, что пришла весна, так на вилле появляется Резеда Лафлёр, маленькая розовощёкая насмешница, чьи серые глаза так ярко блещут; она отводит взгляд, если смущается или прыскает со смеху (каждый раз, когда ей говорят «мадемуазель», и едва завидев Сенатрису); груди у неё сочные, а на руках-кругляшах весело цветут веснушки. Искусство прятать барашков из пыли под наспех застеленными кроватями, в котором она превзошла мать, и деревенский запах прогорклого топлёного сала и кроличьей шкурки, который из комнаты в комнату следует за Резедой и её веником, — ещё полбеда по сравнению с её идиотскими смешками, манерой вдруг пожимать плечами и отворачиваться, беспричинной весёлостью, в любой момент рвущейся из неё; всё это вызывает у Сенатрисы тайное раздражение, которое в её отношениях с маленькой старьёвщицей оборачивается самой церемонной вежливостью.

Но Алькандру не даёт покоя совсем другое; некоторое время он это скрывал, погружаясь в книги, в уравнения; насмехаясь над самим собой, изучал в зеркалах, чем может польстить ему внешность, и теперь, определив, что каштановая шевелюра, в которой есть что-то дикарское, мечтательно-меланхолический взгляд и сильные плечи, возможно, дают ему некоторые козыри, он решается ответить на кудахтанье Резеды, которая при нём притихает, и, по правде говоря, у него уже нет ни времени ни желания подумать, потому едва он осторожно обхватывает её рукой и приобнимает за талию, как Резеда, прильнув к его груди, жадно целует его в губы и за мочкой уха; Алькандру только и остаётся повернуть ключ, чтобы не ворвалась вдруг Сенатриса, и повалить наследницу врагов на мятую постель, где она как раз меняла бельё.

Словам, которые произносит Алькандр, вторит глухое кудахтанье в подушку; он без сожаления забывает о речах, он купается в этой музыке без слов, в животной радости, которая раскрепощает мысли, или, по крайней мере, когда Резеда уходит, не даёт ему в одиночестве удивляться собственной наготе. Лаская друг друга, они со смехом ведут единственно подходящий для их свиданий диалог — играют в «самолётик», когда один лежит на другом, вытянув руки в стороны, и оба делают «др-р-р-р», глядя друг другу в глаза, счастливые, что нечто ребяческое и такое воздушное позволяет сбросить тягостный балласт молчаливого союза. И всё же, когда приходит время расставаться, когда, отвернувшись, Алькандр смотрит вниз, на сиреневые трусики, которые бросила на половик его подруга, он чувствует, как из глубин сладострастного упокоения в нём поднимается волной и словно овеществляется в животном запахе Резеды смутная удушающая грусть; прикрыв ненадолго веки, он видит, как перед ним парит некогда паривший в Крепости, во мраке и смраде нужника, неясный и неотступный образ Мероэ. Затем

он открывает глаза, и его взгляд медленно скользит вверх вдоль такого же спокойного и грациозно выгнутого в полудрёме тела юной врагини, добираясь до веснушек на лице, до чуть сальных от кожного жира корней волос.

### Глава 3

#### 5

— *Мон фи*<sup>2</sup>, вы меня смущаете, — говорит Сенатриса, перетасовывая карты, которыми раскладывала пасьянс.

Они закончили ужинать. Алькандр отнёс на кухню остатки манных клёчков. Сенатриса не променяла французский язык своих гувернанток на грубое местное наречие: она говорит «*мон фи*», помнит про придыхательное «аш», и отсюда до Версаля у неё единственной правильное мягкое «эл». Языком своего детства она пользуется, обращаясь к Алькандру, когда его надо привести в чувство: своими строгими синтаксическими конструкциями, фиксированными оборотами, испытанными в тысяче романов, язык спасает Сенатрису от губельного искушения душевной близостью.

Алькандр уже не раз просил её погадать: не то чтобы его занимали обстоятельства будущего, которые, по его представлениям, не будут отличаться он настоящих, но ему хотелось разок понаблюдать за матерью, совершающей своё таинство. Этим вечером он повторил просьбу, не особо настаивая, от нечего делать: фортепиано было расстроено.

— *Мон фи*, вы меня смущаете, — сказала Сенатриса, — не знаю, есть ли у меня этот дар...

Пока она ищет колоду таро, Алькандр ставит на стол бутылку свекольного самогона, перегнанного в Ла Гарен «по старинному семейному рецепту бывшим придворным камергером».

— Вообще-то я никогда не раскладывала карты для себя, — произносит Сенатриса с непривычной робостью в голосе.

— Скажите только, суждено ли мне стать миллионером, — отвечает Алькандр, усаживаясь на стул, — своими миллионами обещаю с вами не делиться.

Его раздражает, что она мнётся и воспринимает свои пророчества всерьёз; он всё время поддразнивает её.

Кожа на длинных пальцах морщинистая, суставы сгубил артрит, зато движения у Сенатрисы уверенные, огород не изменил их изящества: в круге света под лампой она выкладывает в ряд свои вещие карты. На Алькандра она не смотрит; её отсутствующий взгляд остановился дальше картонных прямоугольников и наблюдает совпадение нематериальных фигур. Когда она переворачивает карты, её движения замедляются; вот она замирает с картой, приподнятой над столом.

— Ну? — говорит Алькандр.

<sup>2</sup> Специфическая форма произношения французского обращения «*mon fils*», «сын мой».

— Алькандр, вы меня смущаете.

Такое впечатление, что этим вечером других слов она для него не найдёт. Затем внезапно, со страданием и горечью:

— Это распутство. Меня не касается, с кем вы видите в Париже, — она употребила более сильное слово: её научили, что это одна из привилегий аристократии. — Но я не хочу быть в это посвящена. Это неприлично.

И она припечатывает к столу карту, которую держала двумя пальцами, и уже готова смести ладонью весь расклад. Алькандр перегибается через стол, чтобы приложить губы к её пальцам и светлым локонам седых волос. Он улыбается:

— Наоборот, скажите мне всё. Ведь это в будущем. Она блондинка? Брюнетка? А грудь красивая? Я совсем ничего не знаю.

— *Мон фи*, — упорно твердит Сенатриса, — это неприлично.

Но карты не спутаны. Она медленно берёт следующую и переворачивает её.

— Видимо, я ошиблась, — говорит она, обращаясь к самой себе. — Наверное, эта женщина... я сама. Вы определённо меня смущаете.

Глаза поднимаются к Алькандру: в её взгляде непередаваемая глубина; Алькандру кажется, будто сквозь синеву этих глаз он видит, как распаиваются беспредельные горизонты пророческой мысли.

— Я вижу смерть и много счастья. Алькандр, шутки в сторону. Думаю, скоро мне уже нечем будет вам помочь. Кажется, я видела свой гроб.

Он отводит её к просиженному дивану и усаживает между двумя строптивыми пружинами, выпятившимися под тканью в цветочек.

— Я надеялся больше узнать о своей будущей победе. Вы слишком серьёзно относитесь к картам.

— Ничего серьёзного в этом нет, — отвечает Сенатриса, — но смерть — это точно; меня только смущает, что сегодня я не смогла встретить её с ясным рассудком. Ревность — плохое чувство.

Алькандр изо всех сил сжимает её в объятиях, покрывает поцелуями — впервые с тех пор как кончилось детство — и относит в постель, где она засыпает в слезах не раздеваясь. Всю трапезундскую ночь<sup>3</sup> он просидит один перед молчащим фортепиано, сжимая пальцами рюмку самогона.

*Перевод с французского Анастасии Захаревич*

© Editions Gallimard, Paris, 1978

<sup>3</sup> Возможно, метафорическая отсылка к операции, в результате которой русская армия в апреле 1916 года заняла Трапезунд, порт на южном побережье Чёрного моря с широко представленным греческим населением, бывшую столицу Трапезундской империи (1204–1461), образовавшейся в результате распада Византии. Операция не была проведена по первоначальному плану, поскольку турки, находившиеся в Трапезунде, воспользовались паузой в наступлении и, очистив город, ушли. Опасаясь штурма, жители-греки прислали делегацию с просьбой занять город, что и произошло без единого выстрела. (Источник: <http://bg-znание.ru/article.php?nid=5946>.)

Встречаются также описания жизни греков-христиан в Трапезунде, согласно которым в городе, находившемся под контролем турок, они были вынуждены справлять христианские обряды по ночам. (Источник: <http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/40645.htm>.)